

# ГОРЯЧИЙ ЧАЙ С МОРОЖЕНЫМ



—  
ВЕРА БРОЙДЕ

Родилась в 1984 году в г. Ностроме. Окончила факультет журналистики МГУ имени Ломоносова. Работала в ИД «Нижнее обозрение». Лауреат Первого Всероссийского конкурса молодых литературных критиков

—  
(2021) и финалист фестиваля короткого рассказа «Нора». В настоящее время сотрудничает с интернет-порталом «Rara Avis». Открытая критика и литературным приложением «Независимой газеты». Живет в Реутове.

Не помню, как звали соседку по парте, которая часто теряла закладки. Мы год с ней сидели: два раза в неделю. Ей нравились дробы и знаки вопроса. Она рисовала во время уроков: каких-то принцесс и больших носорогов. Но имени я почему-то не помню. Еще я не помню, как выглядел дядя, хотя это он научил меня плавать. Лишь руки, покрытые каплями моря и темно-коричневой краской загара: на левом запястье белела полоска от снятых заранее старых часов. Лица его я совершенно не помню. Не помню, когда я попробовал дыню, когда в первый раз я спустился в метро, когда я отправил кому-то письмо. Не помню так много... так много всего, что помнить, казалось бы, должен. Наверное, мозг мой считает иначе: он думает, то есть так думаю я, что все эти вещи я помнить не должен, поскольку они не важны для меня. Не знаю, не знаю... Быть может, он прав. Тогда это, в общем, и впрямь объясняет, как вышло, что мне не забыть того дня, когда я увидел его в первый раз.

Молочное небо и бледный асфальт. На мне был костюм и сорочка в полоску. А галстук – я помню – невзрачно-зеленый. И вот еще что: не звонил телефон. Я помню, как кто-то сказал на работе, что смотрит ужастики вместе с женой. И помню, как вечером шел по мосту, когда в том трамвае, что ехал под горку, зажегся завистливо свет, и я вдруг подумал тогда: этот свет – медо-

вый, знакомый и теплый – как будто бы всем говорит, что вечером нужно идти – и лучше бы, если домой. Еще я подумал о том, что было бы так хорошо – вот так вот куда-нибудь ехать, что можно в дороге молчать, а можно болтать ни о чем, что есть тут, наверное, связь – какая-то странная связь: ну, вот, между этим вот светом, и мягким приветливым часом, и детским стрекочущим звуком, и тем, что сидящие люди все разом трясутся то влево, то вправо, то вверх, то назад, то вперед. Потом я увидел его.

Старик выходил из трамвая, а трость он держал как копьё, и сзади, на кончике трости, болталась большая авоська. Сейчас-то, конечно, я знаю, что именно из-за нее в тот день я запомнил его. Сквозь дырки виднелись брикеты: стаканчики, лед, эскимо, – там было, наверное, все, что только он мог унести. Не меньше пяти килограммов. Я даже решил, что, будь его мама жива, она бы его отругала. А если он съест их один – ну, скажем, за день или два, ему не дожить до конца – ни этого душного лета, ни начатой только вчера пронзительно скучной недели. А может, того он и хочет: вот так вот игриво уйти? Не знаю, с чего я решил, что он проживает один. Ведь мог он купить эту гору пломбира для внуков, к примеру, своих? Для дочек, которых штук восемь, и толстой-претолстой жены?

Я год уже жил в новом доме. Хотя он был вовсе не новым: годился мне в деда, наверно. Кирпичный такой, невысокий – приземистый, красный, довольный. Едва попадая в подъезд, я чувствовал, как его запах – какой-то сырой густоты, шкварчащей картошки и пыльных страниц недочитанных книг – сочится из разных квартир и даже в мою проникает. И жизнь моя новая тут теперь вот его источает.

Она состояла из чинной работы и скромных, как мой гонорар, выходных. Но я ее даже любил. Не знаю вот только, какую из двух – из двух составляющих больше. Работа спасала меня от себя, которого я без конца донимал: я так от себя самого уставал, что там, на работе, и впрямь отдыхал. А с вечера пятницы по воскресенье уже от нее, как умел, отдыхал. В то тяжкое время я только и делал, что все отдыхал, отдыхал, отдыхал...

В субботу я снова его увидел: вдали от моста и трамвайных путей – он просто стоял на балконе, когда я, как зомби, завис где-то между песочницей в нашем дворе и дряхлой скамейкой у входа в подъезд. В песочнице с кучей пластмассовых ведер сидел одиноко какой-то малыш и сам себе что-то рассказывал вслух. Заметив меня, он замолк и теперь, полагаю, мечтал, чтобы я наконец отошел. Бездушное солнце расплывало волю. Мне стало вдруг лень что-то делать, решать, куда-то идти или даже стоять. Свинцовые ноги вросли в асфальт, а руки свисали, как старые плети. И я... уж не знаю зачем, возможно, поддавшись стремлению верить, что кто-нибудь – там – мне хоть в чем-то поможет, поднял еле-еле налитую тяжестью голову.

Старик на балконе. Обычное дело. Но он там стоял... то есть нет – не стоял, а словно бы... да – он парил над землей! Держался руками за эти перила, как будто бы вовсе и не за них... Как будто бы это штурвал корабля – такого большого... Его корабля. И взгляд не надменный – совсем даже нет. Он просто смотрел – и не вниз, а вперед, с каким-то неведомым мне любопытством. Я помню, что тоже тогда оглянулся. Дорожка вела за чугунный забор: резная ограда и зелень друидов, – по ней в ту минуту никто и не шел. Я вновь обернулся, он так же стоял, но только теперь он увидел меня – и именно мне улыбнулся. И я помахал ему правой рукой – как в детстве, когда я не думал о том, что взгляд и поступок, и слово, и жест влекут за собою последствия; я сам был последствием собственных чувств, рождавшихся так – впопыхах, без усилий. Но он помахал мне

в ответ – как будто мы были знакомы... А может, как мой постаревший двойник, увидевший в зеркале прошлое?

Мой тайный двойник... Он жил, как и я, в том же доме, один. Но тут наше сходство внезапно кончилось. Хотя нам обоим, признаться, казалось, что это, конечно, оплошность судьбы, поскольку мы с ним очень быстро сошлись. А я не из той категории лиц, которым легко подружиться с чужим. Так было всегда, сколько помню себя: и в школе, где я говорил без волнения, пожалуй, лишь с теми, кто вместе со мною сидел над решением нудных задач, и даже сегодня, когда мне не нужно, как прежде, доказывать что-то кому-то. И дело тут вовсе не в том, что я робок – я только чуть больше, чем все, осторожен. И я не люблю приставучих людей: коллег и соседей, прохожих и прочих. А мысль о том, что другой человек – особенно если он нравится мне – решит, что и я – приставучий, наводит мучительный ужас. С которым я, правда, живу так давно, что он мне, хотя и наскучил, но, в общем, по-своему нужен: как выгнутый вправо мизинец, как ямочка на подбородке, как родинка прямо на лбу. Мой собственный ужас – частица меня. Другие, допустим, боятся дождя, больших пауков или даже себя. И это, пожалуй, нормально – вести себя так, как велит тебе страх. Мой папа со мной себя так вот и вел. Почти не смотрел и все время молчал, а если смотрел, то я прямо сгорал – и он, это зная, меня охлаждал: ну, скажем, зевал или дверь закрывал. Не то чтобы я его так раздражал – скорее, немного порою мешал: как будто сорил в его мире, где он, не жалея себя, исправно следил за порядком. Я мог в этот мир заходить, но жить в нем, конечно, мне было нельзя. Он строил его для себя. Теперь вот и я так смотрю на других, как папа смотрел на меня... Да нет же – мы с ним не похожи! Я только играю в такого, как он: стараюсь казаться спокойным и... как это? Ну... хладнокровным? Он был равнодушным, вообще-то. А может... кто знает? Хотел, чтобы так все считали? И он говорил мне сурово: «Опять ты спешишь? Подожди!» И я, чтобы он не сердился, послушно, как правило, ждал... А тут почему-то не стал – и первым сказал старику, что я вот здесь рядом живу, что тоже страдаю в жару, что воду я пить не люблю, что, если он хочет, могу принести ему все... ну, что там он хочет – брикет или лед? Могу принести эскимо.

Пломбира с брусникой у них не нашлось, но были стаканчики с мятным, ванильным, кофейным,



Он замахал, как мальчишка, руками. Стал уверять меня: я ошибаюсь. Только ему это было приятно.

- Скажете тоже... Да я же был юнгой... Палубу драил, везде убирал... Чистил, что надо, чинил, помогал. Время летело. Я много узнал.
- Вам не хотелось вернуться домой?

Он замолчал, посмотрел мне в глаза. Потом на сервант, на окно, на руки свои и на чайник – пузатый такой и горячий. Черт меня, что ли, тянул за язык? Стало неловко за этот вопрос. Ах, ну зачем надо было его задавать? «Вам не хотелось вернуться домой?» Очень хотелось. Вернуться назад. Ну, вот буквально на пару мгновений. Я бы всего лишь не задал вопрос. Он бы тогда мог еще рассказать... скажем, о том, что случилось потом... что же обычно случается после... Мог рассказать, как себя удержать. Яростно скрипнув, открылась балконная дверь: это вернулась в гостиную кошка. Рыжая, важная, зеленоглазая. Прошествовав мимо притихших людей, направилась в сторону темной прихожей. И тут наконец он продолжил, как будто не слышал вопроса:

- Однажды корабль причалил в ливанском порту. И боцман сказал, что в Бейруте пробудем неделю. Я сразу отправился в город. Блуждал по шумным улицам, запруженным торговцами, подернутым туманом и выхлопами газов. Шаггал, не зная точно сам, куда иду. Вдоль грязно-желтых стен, пропитанных теплом, поэзией и страхом... В Бейруте было жарко. В кафе зашел случайно: из-за его названия. Я просто не увидел букву «h», стоявшую вначале. Я думал, это «Anna». И лишь потом узнал, что нет. Вы представляете себе? Ведь я бы, может быть, в него и не зашел, когда б увидел слово целиком. А если б не зашел...

Он, кажется, задумался. Я ждал, как истукан. Потом он поднял чашку и, будто это тост, чеканно произнес:

- Тогда бы мы и с вами навряд ли познакомились.
- Я вас не понимаю. Что там произошло? И как оно со мной...
- Вы любите кого-то?
- Наверное... Люблю.
- Я тоже. Там я снова... почувствовал как будто... Почувствовал: люблю.
- Вы там влюбились снова? А вы... А как же... Может...
- В халаби. И в сорбет.
- Так звали ту ливанку – хозяйку этой «Ханны»?

И тут он вдруг затрясся. Как маленький. От смеха. Я даже испугался, что чай весь разольет.

Но все-таки подумал, что этот его смех, конечно, много лучше, чем взгляд поверх меня. Придя в себя, он выдал:

- Представьте, если б ваш отец назвал вас... Эскимо! Халаби – это сорт! Мороженое то есть. Хотя и не такое, к какому вы привыкли. Оно готовится вручную, из миндаля и шоколада, на молоке, но без яиц, с арахисом, без сливок. И главное в нем – салеп. Не слышали про салеп? Конечно, я не слышал. Но он был только рад и стал мне, как ребенку, подробно объяснять:
- Так называют смесь из клубней диких орхидей, растертых в мелкий порошок, а в нем содержится глюкоманнан. Теперь-то поняли, наверно? Конечно, я не понял. И снова он был рад.

- Благодаря глюкоманнану мороженое получается тягучим – как будто это тесто для сладких пирожков. Но знаете, в чем соль? Оно таким же было, когда я и на свет еще не появился. И сто, и даже двести, и триста лет назад... Тягучее и нежное – как прожитое время. Как память. Как любовь... Я много где бывал, но только там, в Бейруте, такое испытал.

Он снова улыбнулся: не так, как накануне, не так, как на балконе, не так, как в магазине, не так, как все другие обычно улыбаются, припомнив что-то славное. Он улыбнулся через боль, с которой жил, подумал я, и не желал прощаться. Затем он произнес:

- Тянуло не домой – тянуло в тот момент. И даже через много лет... хотелось в этот город. Хотя он не был домом.
- Простите, ради бога. Но я опять не понимаю. Из-за сорбета и халаби?

Он утвердительно кивнул и хриплым голосом добавил:

- А также из-за Нины.

\* \* \*

- У нее были жесткие волосы. Слово мех какого-то дикого зверя. И немного испуганный взгляд – даже если она улыбалась. И мне нравилась в ней... осторожность. Осторожность была деликатной. Когда мы заказывали кофе, она обычно подкладывала под чашку бумажную салфетку. И помешивая ложечкой сахар, смотрела, как таяла коричневатая пена. Сначала я думал, что ей неудобно взглянуть мне в лицо. Я думал, это застенчивость. Совсем даже нет! Просто она вся отдавалась делу, которым в тот миг была занята. Говорят, будто

женщины, в отличие от мужчин, умеют одновременно совершать сразу несколько разных дел. Так вот что я вам скажу. – Тут он вздохнул и, покачав головой, как-то странно, то ли грустно, то ли лукаво усмехнулся. – Может быть, моя Нина потому и была особенной, что вот этого как раз не умела. И меня научила чуть-чуть.

Заправляя наутро постель, я подумал о том, что все делаю слишком уж правильно: слишком тщательно и аккуратно. Проверяю, где низ одеяла, чтобы не было маленьких складок, чтобы плед прикрывал все что надо, хотя вечером я его сброшу и никто так и не увидит пятна от томатного сока. У меня и гостей не бывает. Для кого, для чего я стараюсь? Трачу время, которое мог бы... ну, не знаю... потратить на что-то... большое. А потом я вдруг понял, что эта возня со своим одеялом, простынкой и пледом – только яркий пример моего отношения к жизни. «Неоправданная серьезность». Так и слышу внутри себя голос врача. «И давно вы страдаете этим?» – «Я не знаю. Наверное, с детства. Это лечится? Я бы хотел...» – «Это дорого. Долго. И сложно». – «Но я мог бы...» – «На что вы готовы?» – «Ну, пожалуй... пожалуй, на все». – «И вернуться домой?» – «То есть как? Я уехал из дома как раз потому, что мне там...» – «Отправляйтесь назад. И письмо свое тоже отправьте».

Я не мог. Я сидел над ним год. Иногда я придумывал фразу, целый день с этой фразой ходил, как с болячкой на сгибе локтя: все боялся о ней позабыть, сковырнуть ее вдруг ненароком. Я ощупывал фразу украдкой, пока слушал чужой разговор или делал себе бутерброд. Я был даже по-своему счастлив... До тех пор, пока, лежа в кровати, уже вечером, не понимал, что она никуда не годится: неказистая или... не знаю... выдает меня за скупердяя. И тогда я менял все слова. Сокращал, добавлял, тасовал. И еще вспоминал кое-что и мечтал, как бы все ведь могло, как бы было, когда бы не то... И сердился. Не знаю, на что. На себя? На нее? На слова? Зря я, впрочем, пенял на слова. Дело было не в них, а в моей неспособности их приручить, в неумении выбрать среди них такие, которые лягут, как пазлы, все вместе, составив картину. Сидя там, в стариковской квартире, глядя кошку, которая часто ложилась у ног и следила за танцем пылинок, поднимаемых ветром с балкона, я не слышал, как он говорит, не смотрел на часы, на протертый ковер, на рисунок

обоев. Я все время был там, на картине, которую он воскрешал.

Нина жила в Бейруте со своим отцом. Жесткие темные волосы и прямой нос с маленькой горбинкой ей достались именно от него – невысокого, строгого, сумрачного. А вот бледную кожу, веснушки и нежную линию губ, осанку и легкую грусть она унаследовала от мамы: та была русской.

– Мама много читала. Часто смеялась. Готовила каши. А шкурки от яблок все время срезала. И слушала птиц. Любила меня, наши с ней отражения, руки. Глаза подводила домашним кайалом, а мне это делать всегда запрещала. Она умерла под колесами старой машины, когда я была в магазине. Я вышла оттуда со сказками Санд и модным журналом, которые мне продавец так любезно все вместе связал, чтоб не выронить, розовой лентой. За завтраком мы обсуждали, каким будет ворот у платья, которое, если успеем, то к августу, может, сошьем. Странно было листать его после всего: без нее – мне одной. Тот журнал, я его уронила. Он испачкался в чем-то, конечно, а модель на обложке все так же сияла... Что до сказок, то, знаете, Ян, они были красивые. Очень. Может быть, даже слишком красивые. Но не очень... не очень-то страшные.

Обо всем этом Нина спокойно, не громко, прищурившись только от солнца, нещадно слепившего утром, ему рассказывала по-русски.

– Арабы говорят так, что все звуки у них как будто сливаются в одну густую и тягучую массу. И слова они обычно произносят негромко и мягко.

Он улыбнулся. Негромко и мягко. Чай остывал, а я слушал и гладил, не глядя, за ухом дремавшую кошку. Вечер воскресенья окрасил гостиную в розовый цвет. Цвет как у ленты, связавшей ей сказки с журналом. Мне он до этого дня представлялся наивным и сладким. Я ошибался. Розовый цвет – самый грустный из всех.

– Вы не сказали, как познакомились с Ниной.

– Я ведь зашел в то кафе под названием «Ханна». Солнце в Бейруте палило ужасно, а в «Ханне» царил прохлада. И полумрак. И какой-то особенный запах. Что-то мускатное. Или цветочное. Даже не знаю... И что-то молочное. Что-то такое... как будто из детства. Очень спокойное. Нежное... Честное... Мне захотелось купить этот запах. Чтобы, как книжку, потом откры-







Я боялся сказать «умерла». Я все так же стоял у балкона. Небо стало кроваво-зеленым. А ведь это немисливо, да? С подоконника прыгнула кошка и взглянула на нас свысока. Вот бы стать кем-то вроде нее. У меня вдруг вспотела спина.

– Нина стала моим амулетом.

### *Из письма*

Я все тот же приветливый парень. Ты смеешься теперь надо мной? Ты права, я, конечно, другой. Но и ты ведь, наверно, другая? Мне, ты знаешь, порой даже кажется, что другая «ты» так не похожа на ту – на мою, на вчерашнюю «ты», что она мне совсем не понравится. Но какая, в конце концов, разница? Я пишу ведь не «ей», а тебе. Ты, наверное, скажешь, я вру? Ну, когда, как сейчас, говорю, что не тот, что теперь я другой? Потому что все так же живу в неприглядной какой-то норе, глубоко под землей, вдалеке ото всех. Только это не так! Тут красиво, тепло и не так уж темно. Тут уютно и пахнет тобой. Пахнет сливами, летом, травой. На полу – марокканский ковер. На столе – невысокий стакан. Я налил в него сок для тебя. Хочешь выпить его хоть сейчас?

За последние несколько лет я принес сюда уйму вещей. Эти вещи мне прежде не нравились. И увидев их, ты удивишься. Понимаешь ли, я изменился. Стал терпимей к вещам и к себе. Ты могла бы меня вдруг спросить: «Отчего же я так изменился?» Я бы вырвал тетрадный листок и составил внушительный список. Там бы был, например, нектарин, а еще, может быть, маракуйя. Я включил бы в него акварель на меду и, пожалуй, миндальное мыло. Я стараюсь казаться счастливым. Ты бы это во мне оценила? Я надеюсь. Надеюсь, что да. И еще я надеюсь на то, что и ты бы была тут счастливой, потому что мой мир очень многим обязан тебе... Мне, наверно, пришлось измениться, чтобы это однажды понять. Так случилось, что я подружился с одним стариком. Он живет по соседству со мной. Раньше плавал повсюду на судне. Пробыл даже неделю в Бейруте. Рассказал мне про чай и сорбет. Он, ты знаешь, и вправду чудесный. Мы с ним как-то молчали вдвоем. Было, в общем, понятно, о чем. А потом я все слушал его. Я внимательно слушал, и, знаешь ли, что? Я как будто бы впитывал жизнь. Это было прекрасней всего. Это стало причиной того, почему я отправлю письмо.